

«Мыслить не в одну голову»: «Книга Таньги»

Рокитянский В. Р.,

Группа по исследованию наследия ММК, Москва,
gignomai@yandex.ru

Аннотация: Разговор о «Книге Таньги» ведут философ Константин Павлов-Пинус и составитель книги и собеседник Таньги Владимир Рокитянский. Таньга (Татьяна Олеговна Любимова, 11.01.1971 — 12.04.2017), какой она предстает в «Книге», — это методолог (в традиции Г. П. Щедровицкого), а также и поэт-художник, наблюдатель мимолетностей жизни, и сновидец, высоко ценящий одиночество, и «скорая помощь», всегда готовая к деятельному отклику на встреченное страдание другого... Говоря формально, «Книга Таньги» — это ее публикации в ЖЖ («Живом журнале») — «врубь» и поставленные жизнью вопросы и их обсуждение, записи снов, зарисовки увиденного за окном и в пути, впечатления от стихов и прозы любимых авторов — плюс рефлексивные отчеты о семинарах (в этой части задуманной серии преимущественно семинаров «на двоих» с В. Р. — Гигномаем) и письма. Содержательно это попытка воскресить образ Т.; для составителя — продолжить неоконченный «семинар» и мышление «не в одну голову» (выражение Таньги), для читателя — возможность включиться в этот разговор и в эту «коллективную мыследеятельность».

Ключевые слова: жизнь, методология, мышление, поэзия, рефлексия.

К. П.:

— Так получилось, что я — первый читатель печатного варианта «Книги Таньги». На правах первого читателя хотелось бы поговорить с Вами об этой книге, о том, как рождался замысел, что двигало, довольны ли тем, что получилось, и о многом другом.

Известные слова Пушкина, что нет ничего более интересного, нежели следовать за мыслью великого человека, подсказывают вот какое соображение. В наши времена, по ту сторону сообществ людей публичных и именитых, живет необозримое число интереснейших персонажей, не только за чьей мыслью, но и за самой судьбой которых следить оказывается делом занимательным и весьма поучительным. Бесценный и практически всегда уникальный опыт *бытия человеком* всякого такого жителя Земли действительно заслуживает особого внимания. И все же выйти на публику с книгой о человеке, практически не известном широкой публике, дело весьма рискованное, тем более что количество печатной продукции сегодня достигло невероятных масштабов. Не могли бы Вы немного рассказать о замысле, о том, во что верили и на что возлагали надежды, пускаясь в это предприятие? Для кого, по-Вашему, эта книга, кто может быть ее читателем?

В. Р.:

— Знаете, я немного скептически отношусь к этой высказанной Вами идее о «заслуживающем особого внимания» опыте «необозримого числа интереснейших персонажей». Кому «интереснейших»? Я очень сочувственно отношусь к сохранению и накоплению родового опыта. Но все люди — разные по своему масштабу, и кому-то

лучше бы остаться персонажем исключительно семейных и узко-дружеских преданий... Книга, как, впрочем, и все, что делает человек, должна быть кому-то нужна.

Поэтому на Ваш вопрос, для кого я делал эту книгу, я отвечаю: прежде всего для себя. Она нужна мне. Таньга — была (и остается) мне другом, во многом учителем (хотя она и отрицала эту роль, не любила, когда я так говорил о ней), временами даже врачом. Но если от привычного социально-ролевого смысла этих именовании двинуться в сторону их общего, как мне кажется, глубинного смысла, то... скажу словами любимого ею и подаренного мне стихотворения Ольги Александровны Седаковой: «Да, мой господин, и душа для души / не врач и не умная стража / ... Не мать, не сестра, а селенье в глуши / и долгая зимняя пряжа. ... И знаешь ли, царь? Не лекарство, а труд — / душа для души...»

Да, труд... Наше общение, наш длившийся из дня в день, из месяца в месяц разговор был не только радостью, но и трудом. И как это ни горестно сознавать, я далеко не всегда вкладывался в него в полную силу мысли, внимания, чувства. Продолжить неоконченный разговор и — допонять, додумать, ответить — вот что я хочу для себя сделать этой книгой.

Но вопрос остается: публикую-то зачем? Уверен ли я в нужности этой книги другим, в том, что у нее будут читатели? Нет, не уверен, как нет у меня и уверенности в том, что сама Т. одобрила бы эту мою инициативу. Но... знаете, наряду с этими опасениями во мне живет вера в то, что возможность приобщиться к миру Т. окажется нужной не только мне или узкому кругу ее друзей, но и кому-то еще, неведомому мне читателю, который найдет в ней для себя то же, что нахожу я, или часть того же, и, возможно, что-то свое, другое... Верю и доверяю своей вере.

К. П.:

— Из Ваших слов следует, что Таньга оказала на Вас большое влияние или, говоря словами другого поэта, побуждала Вашу душу «трудиться / и день и ночь, и день и ночь». Можете как-то это пояснить, иллюстрировать каким-то примером?

В. Р.:

— Приведу один пример — не помню, вошел ли он в эту, первую, книгу или относится к позднейшему времени.

Наше общение достигало предельных степеней прямооты и откровенности, дурное, неряшливое безжалостно вытаскивалось на свет Божий и на свет собственного сознания. И вот, в ходе такой «чистки души» я пришел к осознанию, что вся моя прошедшая (до 67!) жизнь была «прожита халтурно». Этой найденной мною «формулой» я делился с некоторыми друзьями, вполне ожидаемо получая от них утешительные ответы — в том смысле, что «не совсем же так», что «много же и хорошего сделано» и т. п. От всех, но не от Т., которая, выслушав, сказала в ответ коротко и ясно: «Поняли это. Хорошо. А теперь думайте о том, как дальше жить иначе». Пытаюсь...

К. П.:

— Таньга определяла себя методологом и, видимо, была им не только по образу мысли, но и по образу жизни. Думается, не лишними будут Ваши комментарии к вопросу, что такое методология. Тем более что методологию, оказывается, можно рассматривать не только как теоретический инструментарий, нацеленный на решение практических задач, но и намного шире — как матрицу, задающую некий жизненный стержень.

В. Р.:

— Попробую, хотя это — огромная тема. Речь идет о «системомыследеятельностной (СМД) методологии», связанной с именем Георгия Петровича Щедровицкого и созданным и руководимым им Московским методологическим кружком (ММК). Для меня нынешнего, как, полагаю, и для Т., это едва ли не самое ценное, что породила мысль человечества. Ну или, скажу не так задиристо, самое мне близкое и нужное. Но тогда, в начале нашего с Т. общения, я бунтовал против методологии, обвинял ее в релятивизме, в безразличии к истине, в подчинении мысли интересам дела... Т. обличала меня в некомпетентности, объясняла, в толковывала, убеждала и, уверен, ее роль в том, что я изменил свое отношение, очень велика.

Впрочем, как я уже сказал, эта тема — СМД-методологии — огромна, и не для этого нашего разговора. Могу разве что порекомендовать читателям Вашего журнала, российскому философскому сообществу, приступить, наконец, к серьезному, неленивому освоению наследия ММК, которое вполне теперь уже доступно в изданных нами книгах и в интернете.

Но Вы в своем вопросе произнесли очень верные слова о методологическом образе жизни Таньги. Что это такое? Ну, во-первых, это одержимость мышлением, «сладкая диктатура мысли» (метафора Г. П. Щедровицкого). Во-вторых, деятельное отношение к жизни — в том числе и к мышлению, которое в конечном счете имеет целью изменение мира и самого человека. Всегда ставить себе вопрос: какую задачу ты решаешь, какую цель преследуешь, делая, говоря то-то и то-то?

Но, прилагая эту характеристику «деятельного отношения» к Т., можно иметь в виду и нечто более конкретное: всегдашнюю готовность помочь тому, кто в беде — будь то человек или животное. «Скорая помощь» — так она сама определяла это свое качество.

К. П.:

— Из чтения книги мне запомнилось, что у Таньги было какое-то не совсем обычное отношение к такой вещи, как «личная жизнь». Можете ли сказать об этом подробнее?

В. Р.:

— Вы, вероятно, имеете в виду то, что она писала о предназначении «Живого журнала», открытого для других глаз, в отличие от интимного дневника. Общение в ЖЖ (да, кстати, и не только в ЖЖ, а всякое общение) должно быть, считала она, обязательно содержательным. Ей претило самовыражение, выплескивание наружу того, что принято называть «личной жизнью» и что она называла «помойкой», копаться в которой и вычищать которую нужно исключительно самому...



Фото В. Рокитянского

К. П.:

— Мое читательское внимание обратила на себя очень своеобразная «эстетика Таньги» — язык (необычные словечки-термины), стиль, интонации...

В. Р.:

— Да-да, спасибо Вам за это точное замечание!

И устная, и письменная речь ее были максимально приспособлены к передаче живой, пульсирующей мысли, здесь, в этот момент рождающейся, приостанавливающейся и ускоряющейся, да еще окрашенной личным отношением — иронией, негодованием или нежностью... Это про интонацию и синтаксис. О лексике. Она очень богата и своеобразна, в ней можно распознать — наряду, конечно, с просто богатым литературным русским языком — и специфическую для методологической речи «мастерскую лексику» («верстак», на который выкладывается идеальное содержание, «выворачивание» одной схемы через другую и т. д.), и немногие, уместные вкрапления молодежного сленга, и, наконец, собственной выделки термины, такие как более-менее понятное «вруб» (от «врубиться», «прорваться к смыслу») или совсем загадочное «дзыр» (формула для медитативного прокручивания в сознании).

Здесь же выскажу одно общее наблюдение: в Т. сочетались такие обычно мало совместимые вещи, как строгость, жесткость мышления, с одной стороны, и поэтическое восприятие реальности — с другой. Она ведь не только методолог, но и поэт — в том числе и в стихах и песнях, которые создавались в юности, в чуткости к стихам любимых поэтов, в поэтических зарисовках увиденного. И еще — в записываемых ею снах, они из ее дневника перешли в ЖЖ и в эту книгу. Каждый сон — это притча с бездонным содержанием...

Помимо сказанного, помимо ее рисунков и фотографий, я бы отнес к ее «эстетике» и то, как она работала руками и тщательно подобранным инструментом, мастера — все любила делать сама...



Одна из нарисованных Т. мандал

К. П.:

— Идея «мыслить не в одну голову» и как методологический прием, и тем более как жизненный принцип, концентрирующий вокруг себя какие-то важнейшие смысловые средоточия всякого поступка, решения, способа проживания жизни вообще, и т. п., интуитивно представляется очень верной установкой. Правильно ли понимаю, что этот принцип приобрел какое-то особенное воплощение в случае с Т.? Или же это просто более-менее общее место, красивая формулировка, эффектно отображающая довольно распространенное в человеческой среде положение дел?

В. Р.:

— Думаю, что в этой установке сошлись и взаимно усилили друг друга два фактора.

Один — тот, о котором Вы меня уже спросили и я попытался ответить: бескомпромиссная приверженность исключительно содержательному общению. Общаются-то, особенно в России, все — в поезде, за столом или, в наше время, в сетях. Вот этого Т. совсем не любила. Терпеть не могла праздничных застолий; ей бы, как она говорила словами Ленина из анекдота, «поскорей на чердак — и работать, работать».

Второй — это методологическая семинарская традиция, традиция «коллективной мыследеятельности», которую она через Юрия Громько унаследовала от Г. П. Щедровицкого. Вместе с требованиями к такой семинарской работе — удерживать предмет, «выкладывать на верстак», говорить прямо и резко и т. д. И такими способами работы, как схематизация — что бы ни обсуждалось, Т. схематически зарисовывала предмет обсуждения и высказанные позиции.

То новое, что Т. внесла в эту традицию, — это, пожалуй, расширение круга участников за пределы тех, кто профессионализируется как методолог или философ и, соответственно, тематики семинарских обсуждений.

К. П.:

— Ну вот теперь, после этих общих вопросов и ответов, я бы хотел хоть немного затронуть одну конкретную тему, которая и для Таньги, кажется, была одной из ключевых, и Вами в книге выделена как центральная — тему Второго. Правильно ли я понимаю, что Вы и сейчас продолжаете ее, как Вы выразились, «допонимать», т. е. что здесь для Вас по-прежнему кроется некая «тайна Таньги»?..

В. Р.:

— Да, так. Нельзя сказать, что я так-таки совсем не продвинулся в понимании того, что Т. имела в виду, говоря о Втором. Когда-то, в самом начале ведения своего журнала, отвечая кому-то на недоуменный на сей счет вопрос, она призналась, что понять другому

человеку это трудно и что «разве что Гигномаю каким-то чудом это удастся». Это был, конечно, аванс, обеспеченный только тем, что я внимал, не отвергая... И поскольку «Бог — не импотент» (формула Т., высказанная по другому поводу) и добросовестные усилия вознаграждает...

Словом, вот что я могу пояснить. Т. без малейшего пиетета относилась к той себе, которую она знает, к своему эмпирическому Я. Декларировала полное безразличие к посмертной судьбе своей «тушки». В этом было несомненное и ею признаваемое влияние раннего и, кажется, довольно глубокого погружения в буддистскую школу мысли. Но — в этом я убежден — и христианское... Любила она Христа, иначе бы не написались слова этой короткой пасхальной песни:

Синее небо. В нём солнце — ладья.
Синее море, в нём лодка моя.
Ласковым стрелам открыт — без щита
Славит рыбак Воскресенье Христа.

Так что я склонен понимать «Второго, он же — Первый» как лучшее в человеке, достойное иной жизни. Впрочем, сказал это и смутился — так ли? Не тороплюсь ли втиснуть «дзыр» Т. в рамки богословских конструкций?

Т. не была богословом. И к моим попыткам разбираться в богословских мыслеплетениях относилась критически: для чего это Вам? Что это изменит в Вашей жизни?

А пояснительного добавить могу вот что.

Т. была почитателем и внимательнейшим читателем Андрея Платонова, особенно читанного-перечитанного «Чевенгура». Помните, там у А. П., в описаниях самосознания Александра Дванова говорится о «евнухе», «маленьком зрителе — он не участвует ни в поступках, ни в страдании, он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба — это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека, и неизвестно, зачем он одиноко существует». Так вот, своего Второго Т. была склонна отождествить с этим «евнухом».

И — возвращаясь к теме посмертия — процитирую одно место из обсуждения в ее ЖЖ: «Если спросить меня, как мне на самом деле кажется, что потом будет, ответ будет далек от канонического: я вернусь, чтобы хранить здесь того-тех, кого люблю, как моя баба Маня ко мне приходит. Собственно, вот то во мне, что по-настоящему любит — останется после, чтобы продолжать любить, а остального ничего не останется, и не надо, собственно...» Поэтому-то некоторые из дорогих ей умерших, как помянутая баба Маня, были, как она говорила, для нее более живыми, чем многие из живущих...

К. П.:

— На обложке «Книги Танги» стоит цифра 1, вроде бы говорящая, что это первая часть замысла...



В. Р.:

— Да, первая книга охватывает начало ведения Таньгой ЖЖ и первый год нашего общения (2008-й). После него много чего еще было, и материал мною собран и первично обработан для еще минимум двух, а то и трех книг. Но вот тут как раз и встает вопрос адресата: либо я делаю остальные книги для себя и узкого круга друзей Т., либо все-таки «брошаю бутылку» в море в расчете, что она найдет своего неизвестного мне читателя... Я еще не нашел ответа на этот вопрос, возможно, публикация нашей беседы у Вас в журнале и появление-непоявление отклика на нее как-то помогут мне определиться.

Да, вспомнил, что не ответил на один вопрос, заданный в самом начале: доволен ли я сам тем, что получилось? Да, мне книга нравится. Для меня несомненна ценность главного — слова, мысли и образа Таньги, я как мог пояснил то, что требовало пояснения, и вот еще что: книга говорит с читателем не только записанными в нее словами, но и своим устройством и обликом. Необыкновенной удачей была встреча с дизайнером Георгием Дралкиным, который книгу сконструировал и оформил...

К. П.:

— Спасибо Вам большое, Владимир Ростиславович, за нашу беседу!



Фото Илзе Рожкалне